

ВЕРХОГЛЯДКА

У нас маленький дом. Всего две комнаты. «Интересно, дом маленький, а комнаты большие». Я лежу на разобранном диване на мягкой подушке под теплым одеялом. В комнате установился прозрачный ровный утренний свет. Из заснеженных окон проникал он в комнаты.

В доме тихо. Через дверной проем, ведущий на кухню, я угадываю бабушкину кровать, но не вижу, расправлена она или нет. Легкий скрип железных пружин тревожит дремоту, и я слышу чуть хриплое:

— Ну всё, утро уже. Встаешь, чо ли?

Мне радостно слышать ее голос, но я лениво отвечаю:

— Встаю... А зачем так рано?

— Завтрик отводить. Как зачем?

У меня каникулы. В доме тепло. Я опять закрываю глаза.

— Так весь день проспять можно. Ни к чему это.

Бабушка подходит к окну, еще дальше отодвигает шторы, которые раздвинула мама, уходя на работу.

— Мело-мело и намело. Никак не рассветет...

— Рассветет, куда денется! — Я тру глаза мятыми ладонями и выкидываю из-под одеяла ноги.

— Да-а, можа, и рассветет, — не унимается бабушка.

Мне уже десять, и я точно знаю, что рассветет. Чего она? Смешно даже...

— Пушай так. Только и ты постарайся, чтоб и у тебя рассвело.

— А у меня где? — уже психую, застилая кровать.

— Как где? В мозгу да в душе, верхоглядка!

Чуть не до обеда было серо в доме, но мы из света оставили в комнате только огни на новогодней елке. Я торжественно кладу на письменный стол белый лист бумаги и ставлю банку с цветными карандашами:

— Сегодня я буду рисовать.

— Рисуй кадры. А я тесто пока налажу.

Молчим и смотрим на елку, на взволнованную нашим дыханием мишуру и торжественную статью разрисованного розовой и голубой акварелью ватного Деда Мороза.

— Будешь пироги-то?

— Буду.

— С брусникой?

— Буду с брусникой.

— Рисуй кадры.

Бабушка уходит на кухню. Шуршит о клеенку рассыпанная для теста мука. И вот уже бабушка ловко перебрасывает тесто с ладошки на ладошку, что-то бормоча и довольно побрякивая.

Я смотрю в дальний угол комнаты, где между диваном и оконной шторой еще прячется утренний сумрак, и составляю из новогодних отблесков картинку, пригодные для рисования. Вначале они с трудом проявляют себя, «сермяжничают» (я слышу это от бабушки), потом лихо выстреливают мультяшным потоком, затем мелькают пореже и останавливаются вдруг легким наброском, который и хочется перенести на бумагу. Как будто и впрямь рассвело в мозгу!

Как все-таки вкусно: есть горячие пироги с холодным молоком! Я жмурюсь от удовольствия и вздыхаю.

— Чо, не получается картинка-то?

— Не-а...

— Она ни у кого сразу-то не получается.

Я удивляюсь ответу, ведь рисую-то я одна. Поэтому спрашиваю:

— Кто?

— Жисть. Ее делать да переделывать приходится.

Мне эта информация совсем ни к чему. Я сбиваюсь, путаюсь, боюсь спугнуть образы непонятными мыслями и, в конце концов, почему-то опять обижаюсь.

После обеда бабушка занемогла, а когда мама пришла с работы, вызвали скорую. Бабушку увезли в больницу, где сказали, что нужна срочная операция. Я простояла около мамы весь вечер, пытаюсь показать рисунки. Бабушки рядом не было, а мне нужен совет, где свет сделать поярче, почему темное пятно не закрашивается. Мама закрывала лицо руками и говорила, что сейчас не время. Но через два дня картину уже нужно отправлять на конкурс, а это так важно! Ночью я плакала, разбавляя слезами обиду на близких.

Утром, как только мама ушла на работу, опять села рисовать. Теперь я была в доме одна, и мама во всех комнатах оставила свет включенным, чтобы мне «не думалось чего лишнего». А мне некогда думать, мне нужно быстрее заканчивать картину. Я с большим трудом выдвинула письменный стол на середину комнаты, поближе к дверному проему, чтобы лучше видеть бабушкин портрет. Она на нем уже немолодая, но еще и не такая старенькая, как сейчас. Какая-то вся очень опрятная и задумчивая. Глаза смотрели прямо и чуть вверх, подбородок приподнят, на лбу четко обозначена неглубокая вертикальная морщина, а около глаз — по несколько коротких лучиков. Я смотрела на ее красивые губы, черные приглаженные волосы, кончики ушей с блестящими пуговками-серезжками и мне становилось ясно, что и как нужно сделать, чтобы цвета на рисунке нашли свое место. Я смотрела на портрет и рисовала, смотрела и рисовала.

В обед я доела вчерашние пироги с горячим чаем и спокойно заснула. Картина осталась лежать на столе почти законченная.

Мама разбудила меня словами:

— Бабушка пришла в себя после операции. Собирайся, нас пустят, я договорилась. Тетя Люба поможет.

Она торопилась, но картину заметила:

— Как хорошо, ты посмотри! Молодец, даже не ожидала.

— Правда, мам?

Я прыгаю к ней на шею, но она, мотыляя меня в разные стороны, не останавливает сборы:

— Так, полотенце... кисель... Кисель, сказали, скоро можно будет. Собирайся... живей!

Я отпускаю ее, подбегаю к столу:

— Я не могу! Мне чуть-чуть осталось. Завтра отправлять...

— Не пойдешь? — мама растерянно направляется к двери, потом сухо добавляет: — Ну, смотри.

Клубы морозного воздуха через несколько секунд рассеялись, а вместе с ними исчезло и мое сомнение:

— Да, надо закончить. Это важнее.

Мама пришла вся в инее: и шаль, и воротник, валенки и даже рукавички.

— Какая ты, мама, снежная!

— Как ты? Все у тебя в порядке?

— Я закончила. Посмотришь потом, после чая?

— После чая...

Мама раздевается и идет к столу. Я разливаю по чашкам горячий чай. Мама греет о них руки, пьет чай мелкими глотками.

Я беру пряник:

— Как бабушка?

— Тебя ждала.

— Ты рассказала ей про рисунок?

— Рассказала, но она ждала тебя.

Я освобождаю руки от чашки и пряника, кладу их на трясущиеся колени, боюсь поднять на маму мутные от слез глаза:

— Ждала? — переспрашиваю чуть слышно.

— Да, — вздохнула мама. — Хотя... на улице мороз. Я ей говорю, а она: «Что ж так-то... не пошла?» Потом вот тебе печенье передала. Тетя Маша к ней приходила. Ее, конечно, не пустили. Она принесла печенье... Пойдем полежим, устала.

Мама кладет мне на голову горячую ладонь, опирается на меня, как на табурет, и идет к дивану. Мне кажется, что я так и задеревенела бы вся, если бы не мелкий озноб, который от этого толчка быстро перешел от колен к плечам и задержал мне губы. Мама задремала, и я смогла тихонько поплакать. Минуты через три, когда руки и колени стали совсем мокрыми, в душе прояснилось. Я подошла на цыпочках к столу, взяла картину и спрятала ее под шкаф. Когда мама затопила печь, я украдкой сунула ее в поддувало, где она тихо истлела, превратившись сначала в несколько бубликов с сине-красными язычками посередине, а потом в серебристо-белую золу, невесомую и невзрачную.

На следующий день, когда мы с мамой были в больнице у бабушки, та ласково спросила:

— Ну чо, отправила картинку-то?

— Нет, — пожалала я плечами.

— Не получилась?

— Получится в другой раз! — Я прячу лицо в ее колени, накрытые белым больничным пододеяльником.

— Ну гляди тады лучше... Вдругорядь не оплошай!

БАБУШКА

Вода в родительском колодце никогда не была холодной. Мы ловили ее в пригоршни и разбрызгивали по свету, яркому, солнечному, и казалось: ни тени, ни мрака нет. В ней как-то всегда по-особому плескалось и пелось. Песня лилась повсюду.

Вьюн над водой,

Ой, вьюн над водой,

Ой, вьюн над водой расстиляется.

Жених у ворот,

Ой, жених у ворот,

Ой, жених у ворот дожидается...

Вместе с водой песня заплетала садовые растения и сорняки в сказочные узоры, давая простор фантазии. Когда родители были на работе, а бабушка занята хозяйством, мы с сестрой любили заглядывать в колодец, без особых усилий создавая воображением из искрящейся водной мишуры бело-синих ангелов, прильнувших с внутренней стороны колодезного тоннеля к радужной водяной пленке. Ангелы казались нам радушными и одновременно строгими, как бы оберегающими самой своей сутью неведомую нам пока истину: всему свое время.

Наша бабушка собиралась умирать дважды. И каждый раз это было ее решение. В первый раз она так и сказала своей невестке, нашей маме: «Хватит мне жить. Умирать пора». Но «неисповедимы пути Господни, которыми Он ведет нас к спасению», — услышали мы от нее, когда незнакомый дальний родственник бросил последнюю лопату земли на могилу нашей мамы. Потом еще год бабушка нам, двадцатилетним сироткам, вытирала слезы, а после поминок вдруг строго запретила плакать, напугав тем, что так мы утопим на том свете свою мать в слезах: «Вы что, бестолковые, Богу показываете? Что она вам мать плохая была? А как, раз вы без нее не можете?»

«Вот для чего родители нужны? — наставляла она в другой раз, когда мы белили стены в ее комнате. — Чтобы научить деток жить без отца с матерью. Вот и порадуйте свою мать, наладьте свою жизнь. Хватит плакать, пора свадьбы играть».

Так мы и сделали. А как осчастливили дальних и ближних красавцев, бабушка во второй раз слегла: «Ну, кажись, все дела переделала, пора и мне на покой». Мы вызвали батюшку. После исповеди и причастия бабушка как бы заснула. Нам с сестрой, рыдающим в соседней комнате, просветленный батюшка тихо сказал:

— Такие бабушки несли веру в самые трудные годы.

— Ага, в войну. Сталина не боялись, — трясли мы подвязанными в платки головами.

— Да и в семидесятые, когда совсем воздуха не было, — И добавил почти радостно: — Редко кому Бог дает счастье умереть сразу после покаянной молитвы!

Но мы завопили так иступленно, что бабушка и на этот раз осталась.

— Ладно кады, готовьтесь, погожу чуток, но чтоб в другой раз дали мне отойти с миром! Не рвите меня, не держите на этом свете. Хватит, пожила я, помучилась, — ворчала она, оправившись.

— Что уж, только все и мучилась? — не верили мы.

— А то чо ж еще? — разглаживала она корявыми пальцами линии на ладонях.

— И счастлива не была?

— Эт када еще?

— Ну, хоть с мужем...

— Была, ну дак это када было! До войны еще! Война все и забрала... — она как будто оправдывалась, а потом задумчиво добавила: — То всё искорки, а так — без горя и не жили, слава Богу. Поди, заработали место у Его престола.

И она стала сама нас готовить к тому, чтобы умереть спокойно.

— Как увидите, что к смерти меня гонит, — наставляла она нас, — не молитесь больше, чтобы я пожила еще.

— А как нам говорить: «Господи, помоги нашей бабушке поскорее умереть», что ли? Вот это будет молитва так молитва! — толкали мы друг друга в бока, намывая пол в ее светлой комнате.

— Будя вам смеяться, дочки! Вы подойдете к Его образу и скажете: «Господи, да исполнится воля Твоя, но пожалей нашу бабушку. Коли не пришло ее время умирать, то пусть она поскорей поправится, а ежели вышло земное время, то пусть умрет скоро, без мук».

Так она учила и в горе думать не только о себе. Пригоршнями черпали мы премудрости из бабушкиного источника, облагораживая разум и душу.

— Как они, бессеребренники-то появляются? Хорошо зажил, к примеру, три юбки у тебя в коробе объявилось, дак две носи сама, а третью отдай тому, у кого нехватка: можа, это сестра твоя, а можа, и нет. Придет ее время, она заживет, с тобой поделится. Это ежели в молодости. А ближе к старости — отложи третью юбку на смерть, позаботься сама о себе. Оно, можа, с голым задом и не положат (тут — как жил), но коли время тебе было отпущено, сам о себе должен позаботиться.

Помолчали...

— Вот и будешь лежать, думать, как ты эту юбку-то заработал. А то еще жечь будет нутро почище скипидару... юбка-то. Не смейтесь, во! — теперь она толкала нас в бока сухими пальцами, и мы смеялись уже втроем.

— Вот снится мне надысь сон, — поглаживая на кряжистых коленках фартук, продолжала бабушка. — Темное, как-то навроде и дымное, помещение: лампы ли, свечи, не пойму, можа, свет такой ликтрический... Да откуда лампы-то? Свет ликтрический, конечно, но тускло так светит, и будто мерцает... А я лежу на лавке, али на чем-то деревянном пониже так стола... И откуда сейчас лавки-то деревянные? Не знаю... И так изнутри мне хорошо: и не жестко голове, и спине не больно, и я дивлюсь дюже, что болезни-то меня и не беспокоят вовсе, а вот рукам не совсем ловко, кажется, что упадут с лавки, и ногам почему-то просторно сделалось, распадаются как-то, не держатся вместе. Лежу я вроде как потерянная: не хватает мне чавой-то. И дом мой, и все мое, а што за напасть — не пойму: теперича это вроде и не мое уже. И вот кладут меня в гроб, и как обрадуюсь я! Ну вот, думаю, и пристроила свое тело, нашелся дом-то теперича, не мне всей, а телу моему! Чудно так...

Помолчала, обдумывая или припоминая что-то. Мы каждое слово мусолили, запоминали:

— Ну, лежу я, значит: и руки прибраны, и ногам уборно. Вижу... Не глазами, а так, сверху или со стороны чуток: люди идут. По одному ко гробу подходят, наклоняются или так чаво смотрят, не знаю, а я вижу у них на груди, не совсем уж, а чуток пониже, меж грудями и животом, светляки белёсые и иссиня-светлые по краям, большие, с ладошку, и маленькие есть совсем. И светятся как изнутри. И мне радостно от этого!

Она вдруг встрепенулась, чтобы растолковать нам:

— Это свечение значит, какое я в их душах место занимаю, много или мало. След как бы от моей жизни. Во как! — восхищается она и мы вместе с ней.

Бабушка брала вязание в руки и откладывала вновь:

— А шибко-то мне нехорошо, даже совестно как-то, когда подходит ко гробу человек вовсе без пятнышка. Ну, зачем он

пришел, думаю? (Могу, значит, думать-то!) Мне как бы зацепиться-то не за что. И жду я, так шибко жду, чтобы поскорее они прошли, эти, без пятнышков, и радуюсь — прям не знаю как! — тем, кто весь светится. Вроде бы как я спасаюсь этим, понятно вам?

Мы и посуду отставили, и варить бросили.

— Дак вы уж, дочки, чужих людей-то на похороны не зовите. Придут кады, не гоните, но только пользы им для умершего нет никакой. И еще вот чаво не сказала: не было у меня там ни горя, ни неполадков никаких. Все, навроде, как я сделала, управилась со всем.

— И страшно не было? — выдохнула сестра наболевшее.

— Радость была. Чуток как неловкость какая-то, как будто я у своей бабушки чо в детстве стащила. Можа, совесть меня бередила, не знаю... Совесть, конечно, чо ж еще. Можа, потом по-другому будет? Не знаю. А так — не страшно. Совесть, да. И то-о — крепко не по себе становилось! Но ведь это я еще и от земли-то толком не оторвалась...

Мы уже иссопливили платки, просили бабушку переждать с грустным и завели песню:

*Ехал на ярмарку ухарь-купец,
Ухарь-купец, удалой молодец...*

Под песню разлили по тарелкам борщ, нарезали любимый бабушкин ржаной хлеб, уложили в плетеную корзинку мягкие сладкие булочки. Она махнула высохшей рукой:

— Пойте кады... Вам поди-што не к спеху все это... — И вздохнула: — Как Бог даст, конечно. Всему свой черед.